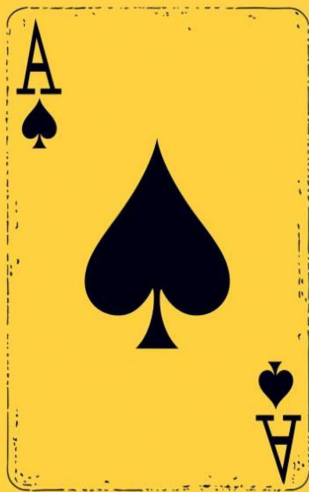


Александр Восьмой



Книга 8. «Окси Двоится»

18+

Александр Восьмой

Книга 8. «Окси Двоится»

<https://litres.ru/74430009>

SelfPub; 2026

Аннотация

Окси вернулась из подвала старьёвщика другой. Или не другой — а двойной. В этой книге правда об Окси раскрывается: её не заменили — её разделили. Настоящая Окси заперта в отражении, а та, что ходит с группой, — сплав из страха и любопытства, всё, что осталось. Прима, невидимая для других, но видимая для двойника Окси, понимает: они обе — выброшенные из мира. И обе могут вернуться только вместе. План дерзкий: Прима входит в зеркало, находит настоящую Окси, и они меняются местами. Но зеркало помнит всех, кто в него смотрел, и у каждого отражения — свои планы на тело.

Александр Восьмой

Книга 8. «Окси Двоится»

Глава 1. Подвал старьёвщика, где пахнет битым стеклом

Улица была пустой уже четвертый квартал подряд. Томск кончился незаметно — где-то между почтой с выбитой вывеской и перекрестком, на котором светофор мигал желтым, словно не мог решить, умер он или просто задумался.

Старьёвщик жил за мусорными баками, в доме, который вроде бы числился по адресу, но ни на одной карте не отображался. Его и не искали бы, если бы не Прима.

Приму никто не слушал. Это было нормально. Её голос существовал в диапазоне, который улавливали только животные, дети до трёх лет и люди с неустойчивой психикой. Фаргус относился к последней категории, но прятал это за хохотом и дурачествами. Он-то и привёл остальных за Примой, выдав её слова за свою идею — просто потому что мог, а она не возражала.

— Тут, — сказала Прима, остановившись у ржавой двери, вросшей в фундамент так, будто дом обволок её, как мясо косточку.

Оптима посмотрел на дверь, на стену, на небо, в котором сгущалась уже не первая за этот вечер темнота. Было что-то неестественное в том, как солнце пряталось — слишком

медленно, будто тянуло, как жвачку, последний клочок света.

— Ладно, — сказал он коротко, потому что был человеком, который сначала делает, а потом думает, и это его единственное достоинство всегда перевешивало все недостатки.

Дверь поддалась с хрустом, который отозвался в зубах. Внутри вели ступени — вниз, под углом, в темноту такую плотную, что фонарь Оптима не столько освещал её, сколько тыкал в неё пальцем света. Пыль поднялась неохотно, будто давно уже спала и была недовольна, что её побеспокоили.

Запах ударил вторым. Битое стекло. Старое. Не свежий, звенящий разлом, а труха — стеклянная пыль, которая въелась в камень, в дерево, в воздух. Зачем кому-то собирать столько стекла под землёй?

Ответ висел над головой.

Зеркала.

Десятки. Подвешенные на проволоке, на цепях, на чём-то, чего в темноте не разглядеть. На разной высоте, под разными углами, они ловили луч фонаря и швыряли его дальше — от одного к другому, от другого к третьему, и свет метался между ними, как пойманный в силок зверёк, пока не выдохся где-то в глубине подвала.

— Кто-то коллекционировал, — прошептала Сиринити, и её голос прозвучал так, будто она не вопрос задавала, а ставила точку.

Фаргус хмыкнул, потянулся к ближайшему зеркалу и кос-

нулся пальцами рамы.

— Красота. Прямо как у бабки на даче. Только бабка хоть протирала, а тут...

Он не договорил. Его отражение моргнуло на долю секунды позже, чем он сам. Фаргус отдернул руку, засмеялся — громко, слишком громко для этого места — и отступил к стене.

— Даф, тебе не кажется, что тут... не очень?

Даффи Толстяк не ответил. Он стоял у входа, в одной руке — надкусанный батон, в другой — пакет с печеньем, и ел с той механической размеренностью, с какой люди дышат, когда не знают, что ещё делать. Его глаза, маленькие и испуганные, бегали по зеркалам, но он молчал, потому что еда была его способом молчать.

— Окси? — Оптима обернулся, и фонарь качнулся, бросив тень на лестницу.

Окси стояла на последней ступеньке — не входила, не уходила. Просто стояла, и в тусклом свете её лицо казалось вырезанным из бумаги: слишком тонкое, слишком бледное, слишком неподвижное.

— Иду, — сказала она и шагнула в подвал.

И в тот момент, когда её нога коснулась пола, все зеркала качнулись. Слегка, почти незаметно, как от сквозняка, которого здесь не было. Но Прима видела: зеркала не качнулись — они повернулись. К Окси. Как цветы к солнцу.

— Выходим, — сказал Оптима ровно, и его голос был

единственной твёрдой вещью в этом подземелье. — Посмотрели. Достаточно.

Они поднялись обратно — быстро, не сговариваясь, словно каждый вдруг вспомнил, что не хотел сюда спускаться. Фаргус — первым, цепляясь за стену, Даффи — тяжело дыша, с крошками на подбородке, Сиринити — молча и плавно, как тень.

Окси вышла последней.

И Сиринити заметила.

Мелочь. Чутьё, которое не объяснишь, — то, что заставляет обернуться на пустой улице. Окси стояла на верху лестницы, и голова её была наклонена — чуть-чуть, на градус, может, на два — вправо. Окси так никогда не делала. Окси держала голову прямо, всегда, даже когда спала.

Сиринити не сказала ни слова. Только запомнила.

Снаружи стало темнее. Не ночь — другая темнота, плотнее, гуще, как будто кто-то накрыл город тканью и забыл оставить прорези для глаз.

— Кошку старьёвщика помните? — вдруг спросил Фаргус, пытаясь вернуть себе нормальность голосом. — Серая, с белым пятном на носу. Он её как звал... Бу... Бусик... Буся!

— Бусильда, — сказал Даффи, не поднимая глаз от печенья.

— Точно, Бусильда! Окси, ты же сама сказала, когда мы...

— Не помню, — сказала Окси.

Тихо. Ровно. Без раздражения, без удивления, без той ин-

тонации, с которой говорят «не помню», когда вообще-то помнят, но не хотят обсуждать. Просто: не помню. Как выключенный прибор — ток есть, а сигнала нет.

Фаргус хотел пошутить, но посмотрел на Окси и не стал. Что-то в её лице — не пугающее, не странное, просто *отсутствующее*, как стул, на котором никто не сидит, — заставило его проглотить слова вместе со слюной.

Сиринити шла сзади. Она смотрела на затылок Окси, на то, как та держит голову — на этот лишний градус, на эту неправильность, — и думала: *не похожа. Не на Окси не похожа — на человека не похожа. Как будто кто-то очень старательно изображает Окси и почти справляется. Почти.*

Сзади хлопнуло.

Все обернулись. Дверь в подвал была закрыта. Тяжёлая, ржавая, вросшая в фундамент — она закрылась сама. Без ветра, без сквозняка, без звука шагов. Просто была открыта — и стала закрыта.

Фаргус попробовал ручку. Не поддалась. Пнул. Звук был глухой, как в стену гроба.

— Ладно, — сказал он, и голос его впервые не был шуткой. — Ладно. Было прикольно. Уходим.

Они ушли. Даффи ел. Оптима молчал. Фаргус не шутил. Сиринити молчала. Прима шла рядом с Окси и видела то, чего не видел никто: тень Окси не совпадала с её телом. Она отставала на полшага, двигалась чуть медленнее, и в тех местах, где Окси шла по свету, тень оставалась в темноте.

Ты не Окси, — подумала Прима, и Окси — та, что была не Окси — повернула голову и посмотрела прямо на неё. Прямо в глаза. И улыбнулась.

Прима была невидимой. Для всех.

Кроме неё.

Глава 2. Двойная Окси

Первую ночь Окси спала с открытыми глазами.

Не широко — полуприкрытые, как у кошки, которая дремлет, но видит. Фаргус, проснувшийся пописать, наткнулся на неё у костра и чуть не заорал. Потом пригляделся: зрачки не двигаются, дыхание ровное, тело расслабленное. Спит. Просто глаза не закрылись.

— Бывает, — сказал он утром, слишком бодро. — У моей тётки так было. Нервное. Переволновалась в подвале, вот и...

Он не закончил, потому что Даффи посмотрел на него с тем выражением, которое у Даффи появлялось только когда он переставал жевать. Это было лицо человека, который знает, что еда не поможет, но других инструментов у него нет.

— Это подвал, — сказал Даффи. — Там было нехорошо. Просто нехорошо, и всё.

Оптимашёл впереди и молчал. Он молчал со вчерашнего вечера, и его молчание было не тишиной, а стеной — плотной, обкатанной, за которой что-то происходило, но наружу не просачивалось ни звука.

Он видел такое раньше.

Деревня за Кедровым перевалом — семь домов, колодец, огороды с капустой. Жила себе жила, пока кто-то не нашёл пещеру в склоне. Не золотую, не волшебную — просто пещеру, с холодным воздухом и стенами, которые поблёскивали, как мокрый сланец. Люди заходили из любопытства. Выходили другими. Не худшими. Не лучшими. *Другими*. Те, кто помнил, как звали их детей, забывали вкус хлеба. Те, кто умел чинить крыши, разучались плакать. Одна женщина начала говорить на языке, которого не существовало, — и самое страшное, что остальные её понимали.

Деревню потом сожгли. Не из страха — из брезгливости. Оптима видел дым с перевала и не стал спускаться. Он понял это правило тогда, и оно работало до сих пор: *если зеркало меняет человека, не стой рядом и не заглядывай*.

Теперь Окси шла рядом.

Второй день.

Окси смеялась на полсекунды позже всех. Фаргус отпустил шутку про бабкину козу — смешную, глупую, в стиле, который он отточил годами. Даффи фыркнул крошками. Оптима выдохнул через нос — для него это уже было весельем. Сиринити не улыбнулась, но это было нормально.

Окси засмеялась последней.

Не сильно. Не пугающе. Просто — после всех, на половину вдоха позже, как будто ждала, чтобы увидеть, как это делается, и скопировать.

Или как будто смех приходил к ней издалека, из-за стекла,

и добирался с опозданием.

Третий день.

Окси знала, что Кедровый перевал впереди — это правильно, они шли к нему. Но она назвала его «Кедровым», хотя всю жизнь звала «Перевал Кедра». Мелочь. Бессмыслица. Никто бы не заметил, если бы не Сиринити.

Сиринити вела дневник.

Не блокнот, не тетрадь — лоскутки бумаги, сшитые грубой ниткой, которые она таскала в кармане плаща с тех пор, как вышла из дома. Она записывала всё: не мысли, не чувства — факты. Только факты. Потому что факты не врут, а всё остальное в этом мире врёт с утра до ночи.

Она записывала:

День 1. Подвал. Окси вышла последней. Голова наклонена вправо на 1-2 градуса. Раньше не делала.

День 2. Спала с открытыми глазами. Левая рука первой тянется к ложке. Раньше первой была правая. Смех — задержка 0,5 сек.

День 3. Назвала перевал «Кедровым». Раньше — «Перевал Кедра». Когда думает, что не смотрят, смотрит вверх-право. Раньше — вниз-влево.

Сиринити не знала, что это значит. Но знала, что значит *что-то*. И пока не знала что именно, записывала, потому что если перестанешь собирать факты, останутся только чувства, а чувства можно объяснить чем угодно: усталостью, стрессом, подвалом, дурацкими зеркалами.

Факты нельзя объяснить. Их можно только сложить.

Сиринити складывала.

Вечером третьего дня, когда разбили лагерь у ручья, Сиринити села рядом с Оптимом и показала ему дневник. Молча. Без предисловий.

Оптим читал долго. Его лицо не менялось — оно вообще редко менялось, — но пальцы на левой руке сжались, а потом разжались, и он вернул лоскутки.

— Перевал, — сказал он. — После перевала — деревня. Я тебе не рассказывал про деревню.

— Расскажи, — сказала Сиринити.

И он рассказал. Про пещеру, про людей, которые вышли *другими*, про дым на горизонте. Про правило: *не стой рядом и не заглядывай*.

— Мы стоим рядом, — сказала Сиринити.

— Да, — сказал Оптим.

— И заглядываем.

— Да.

Они помолчали. Костёр трещал. Даффи жевал. Фаргус точил нож, не потому что нужно, а потому что руки хотели занятости. Окси сидела чуть в стороне и смотрела на воду ручья — на текучее, живое зеркало, которое не висело на цепях и не хранило чужих отражений.

Или хранило?

Сиринити проследила её взгляд. В тёмной воде ручья отражалась Окси — и отражение держало голову прямо. Ни на

градус, ни на полградуса. Идеально прямо.

Сиринити перевернула страницу и записала:

День 3, вечер. В отражении воды Окси держит голову прямо. В реальности — наклон вправо. Отражение правильнее, чем оригинал.

Она хотела закрыть дневник, но рука дрогнула, и она добавила ещё одну строку — мелким, торопливым почерком, которым пишут то, в чём не уверены:

Кто из них настоящая?

Прима сидела между ними.

Невидимая. Неосязаемая. Присутствующая.

Она смотрела на Окси — на ту, что была с группой — и видела то, чего не видел никто: шов. Тонкую, едва заметную линию, которая шла от виска к ключице, как трещина на фарфоровой кукле. Не рана, не рубец — *стык*. Место, где что-то было склеено из двух разных вещей, и клей держал, но контур просвечивал.

Прима видела шов, потому что сама была такой же. Выброшенной. Склеенной из того, что осталось. Только Приму склеили давно, и её шов уже зарос — почти. А шов Окси был свежий, розовый, как новая кожа на ссадине.

Тебя разделили, — подумала Прима, глядя на Окси.

И Окси повернулась к ней.

Снова. Как в первый раз, у подвала. Посмотрела прямо, точно, без удивления — так смотрят на того, кого давно ждут.

Да, — сказала Окси беззвучно, одними губами. И в её глазах — впервые за три дня — мелькнуло что-то живое: не страх, не любопытство, а *оба сразу*, сплавленные, сваренные, не separable. Страх и любопытство. Любопытство и страх. Две вещи, которые не должны расти из одного корня, но росли.

Прима поняла. И от понимания ей стало холодно — не снаружи, а изнутри, как будто кто-то открыл форточку в груди.

Окси не заменили. Окси *разделили*.

Настоящая — где-то там, за стеклом, в темноте, где зеркала висят на цепях и поворачиваются, как цветы к солнцу. А эта, сидящая у костра, — не копия, не подделка, не враг. Это всё, что осталось от Окси, когда убрали остальное: страх, который заставлял её прятаться, и любопытство, которое заставляло её лезть в подвалы. Только эти две вещи и уцелели. Всё остальное — смех, воспоминания, привычки, то, как она держала голову — осталось по ту сторону.

Или осталось в ней, но запертое, глухое, без ключа.

Мы обе выброшенные, — подумала Прима. *Она из зеркала. Я из ниоткуда. Обе — лишние. Обе — не здесь.*

Костёр догорал. Даффи уснул, положив голову на пакет с печеньем. Фаргус храпел, и его храп был единственным звуком, который точно принадлежал этому миру. Оптима сидел с открытыми глазами и смотрел на перевал, за которым ждала деревня, которую он когда-то не стал спасать.

Сиринити писала при свете углей:

День 3, ночь. Прима смотрит на Окси. Окси смотрит на Приму. Между ними — что-то, чего я не вижу. Но вижу, что оно есть.

Она подчеркнула последнее слово дважды.

За Кедровым перевалом, в деревне, которой нет на картах, зажёгся свет. Один. В окне дома, где никто не жил уже семь лет.

Глава 3. Та, кого не видит никто, кроме двойника

Прима была рядом всегда.

Не «почти всегда» — *всегда*. Когда группа шла по тракту, она ступала в след Фаргусу, потому что у него самый широкий шаг и его следы прятали чужие. Когда разбивали лагерь, она садилась с наветренной стороны, чтобы дым костра нёс её запах — слабый, травяной, нечеловеческий — прочь. Когда Даффи храпел, Фаргус ворочался, Оптима лежал с открытыми глазами и думал о деревне, а Сиринити писала в свой дневник, Прима сидела ближе всех к Окси и слушала, как она дышит.

Дышала Окси неправильно. Не плохо — *неправильно*. Вдох на четверть длиннее выдоха, пауза между ними — как запятая, на полсекунды дольше, чем нужно. Живые люди так не дышат. Живые люди дышат небрежно, не думая о ритме, сбиваясь, вздыхая, зевая. Эта Окси дышала *точно*, как метроном, как прибор, который настроили один раз и забыли

перестроить.

Прима знала, как звучит правильное дыхание, потому что сама дышала неправильно — иначе. У неё выдох был длиннее вдоха, как будто она всегда выдыхала больше, чем забирала, и каждое дыхание уменьшало её на крупницу. Может, так и было. Может, поэтому её никто не видел: она расходовалась, таяла, становилась всё меньше, и однажды от неё останется только выдох в холодном воздухе.

Но это было потом. А пока — третий день пути, и Кедровый перевал вырисовывался впереди, как хребет спящего зверя.

Группа шла по тропе, и Прима шла рядом, и Окси — двойная Окси, та, что вышла из подвала, — вдруг остановилась.

Не резко, не испуганно. Просто перестала идти, как человек, который вспомнил что-то важное и не может идти, пока не вспомнит до конца.

Фаргус прошёл ещё три шага, прежде чем заметил. Обернулся:

— Окси? Ты чего?

— Камень в ботинок, — сказала Окси ровно и присела, делая вид, что достаёт камень.

Фаргус кивнул и пошёл дальше, уже крутя в голове новую шутку. Даффи не обернулся — он ел яблоко и не собирался делить внимание с чем-либо, кроме яблока. Оптима не обернулся, потому что знал: если обернётся, то увидит, а видеть он пока не хотел. Сиринити обернулась, записала в

дневник: *Окси остановилась на тропе. Камень в ботинок?*
Проверить.

Прима не обернулась. Прима замерла.

Потому что Окси — присевшая, делающая вид, что возится с ботинком, — смотрела прямо на неё. Не сквозь, не мимо, не в ту точку за плечом, куда смотрят люди, когда думают, что там никого нет.

На неё. В неё.

Глаза двойной Окси были цвета мокрого асфальта — такие же, как у настоящей, — но в глубине их, на самом дне, мерцало что-то, чего не бывает в человеческих глазах: блеск стекла. Не слезы, не влажность — именно *стекло*, холодное, гладкое, отражающее.

— Ты тоже застряла, да? — сказала Окси.

Тихо. Одними губами, без голоса, как говорят те, кто не хочет, чтобы их слышали третьи. Но для Примы эти слова прозвучали как удар колокола — гулко, всюду, от камней до неба.

Прима застыла.

Её видели.

Её *видели*. Не как тень, не как игру света, не как странный силуэт, который можно объяснить усталостью глаз. Её видели как *существо*. Как кого-то. Как ту, которая есть.

Это случилось — давно, ещё до группы, ещё до всего. Один раз. Мальчик на рынке, лет пяти, с мороженым в руке, посмотрел на Приму и заплакал. Не от страха — от узнава-

ния, как будто нашёл потерянную вещь. Мать утащила его за руку, и он оглядывался, пока не скрылся за углом. Это было четыре года назад.

С тех пор — никто.

До Окси.

Ты тоже застряла, да?

Прима не ответила. Не потому что не могла — слова у неё были, голос был, даже если его не слышали. Она не ответила, потому что ответ означал бы, что это происходит на самом деле, а она не была готова к «на самом деле». Она не была готова давно — с того дня, как поняла, что мир видел сквозь неё, как сквозь оконное стекло: замечал только то, что за ней, а не её саму.

Окси встала, отряхнула колени и пошла дальше, и ничего больше не сказала — вслух. Но Прима слышала, как изменилось её дыхание: пауза между вдохом и выдохом укоротилась на четверть, метроном сбился, и в этом сбое было больше жизни, чем во всех правильных вдохах за три дня.

Она видит меня, — думала Прима, шагая след в след за Фаргусом. — Она видит меня, потому что мы из одного теста. Выброшенные. Недопечённые.

Ночью группа остановилась в каменной нише у ручья — ветер с перевала дул злой, колючий, и ниша была единственным местом, где можно было развести огонь, не выдуло бы. Даффи уснул первым, как всегда, с пакетом под щекой. Фаргус — вторым, свернувшись калачом, как собака. Оптима

сел у входа в нишу, спиной к камню, и смотрел на тропу, по которой они пришли. Сиринити устроилась чуть в стороне, при свете углей записывала:

День 3. Окси остановилась на тропе. «Камень в ботинок». Поведение: оглядывалась. Возможно, разговаривала сама с собой. Подозрение: разговор с невидимым объектом. Подтверждение: Прима? Доказательств: нет. Дневник: проверить.

Сиринити закрыла дневник, легла и не уснула.

Окси сидела у догорающего костра.

Прима села напротив.

Между ними — угли, тлеющие оранжевым, и тишина, которая бывает только ночью в горах, когда мир спит и не притворяется, что ему не всё равно.

— Я помню подвал, — сказала Окси.

Прима вздрогнула. Не от слов — от голоса. Голос двойной Окси, обращённый к ней, звучал иначе, чем когда она говорила с остальными. Не тише, не мягче — *честнее*. Как будто стена, которую выстраиваешь между собой и миром, обрушилась, и теперь можно говорить без перекрытий.

— Я помню, как вошла. Помню запах — стекло, пыль, чужая жизнь. Помню зеркала, как они повернулись ко мне. Это не метафора. Они *повернулись*. Как будто я была чем-то, чего они ждали.

Прима слушала. Она умела слушать лучше, чем говорить, — потому что тот, кого не слышат, учится слышать всё.

— Я не должна была входить последней, — продолжила Окси. — Это была ошибка. Или нет. Не знаю. Но когда я шагнула на пол подвала, зеркало передо мной... не отразило меня.

Пауза. Уголь треснул, выпустил искру, искра взлетела и погасла.

— Оно меня *разрезало*. Не стекло — не физически, не больно. Но я почувствовала, как что-то отделилось. Как будто из ткани вырезали фигуру — и фигура осталась на бумаге, а в ткани осталась дырка. Я — дырка.

Прима молчала, но Окси не ждала ответа. Она говорила так, как говорят те, кто молчал слишком долго и теперь боится, что если остановится, то больше не начнёт.

— Я — это не Окси. Я — то, что из неё вышло. Страх, который загнал её в подвал, и любопытство, которое заставило спуститься. Только эти два. Всё остальное — там, за стеклом. Имя, которое она носила, кошка, которую помнила, привычка держать голову прямо — всё *настоящее* осталось в отражении. А я...

Окси посмотрела на свои руки. В тусклом свете углей они казались полупрозрачными, и Прима вдруг поняла: *ей кажется, что она тает*. Не метафорически — физически. Тело двойной Окси теряло плотность, потому что страх и любопытство — это мало, чтобы удержать человека в одном месте. Нужно больше. Нужны воспоминания, нужны привычки, нужно имя, нужно *тело*, которое помнит, как оно живёт.

— Я тону, — сказала Окси, и в голосе её впервые прозвучал тот самый страх — настоящий, не отрепетированный, — который был половиной того, из чего она состояла. — Я тону, и я не знаю, как долго ещё буду... здесь. Быть. Ходить. Дышать.

Она посмотрела на Приму.

— Ты знаешь, как это. Ты тоже застряла. Я вижу твой шов — вот тут, от виска. Он зарос, но я вижу. Ты тоже была разделена? Или тебя...

— Меня выкинули, — сказала Прима.

Первый звук за вечер. Её голос был тонким, как нить, но в нём была та самая твёрдость, которая бывает только у тех, кто давно перестал спорить с реальностью и принял её как есть.

— Меня не делили. Меня просто... убрали. Я была — и стала лишней. Как слово в предложении, которое вычеркнули, а смысл не изменился. Мир обошёлся без меня. Люди смотрят — и не видят. Я стою рядом — и меня нет. Я говорю — и меня не слышат. Я...

Она замолчала, потому что следующее слово было «умру», а она не была уверена, что это слово правильное. Можно ли умереть, если тебя не было?

— Ты видишь меня, — сказала Прима. — Только ты.

— Потому что мы обе — снаружи, — сказала Окси. — Обе — выкинутые. Ты — миром. Я — зеркалом. Мы обе — не здесь и не там. Между.

Угли догорали. Перевал дышал холодом, и в этом дыхании было что-то древнее, зубное, как будто горы знали про зеркала больше, чем все старьёвщики мира вместе взятые.

— Можно вернуться, — сказала Прима.

Окси подняла голову. Стеклянный блеск в её глазах стал ярче.

— Настоящая Окси — там, за стеклом. Я могу войти. Найти её. Поменяться местами. Я стану отражением, а она вернётся в тело.

— Ты останешься там, — сказала Прима. И не голосом — взглядом добавила: *навсегда*.

— Я и здесь не совсем, — ответила Окси. И не голосом — взглядом добавила: *знаю*.

Прима закрыла глаза. За закрытыми веками она видела подвал: зеркала на цепях, пыль в луче фонаря, повернувшиеся стёкла. И в одном из них — лицом к стеклу, прижав ладонь изнутри — настоящая Окси. Цельная. С памятью, с привычками, с кошкой по имени Бусильда.

— Зеркало помнит всех, — сказала Прима, открыв глаза. — Не только Окси. Всех, кто хоть раз в него смотрел. Старьёвщика. Его покупателей. Детей, которые забегали за товаром. Каждого. И у каждого отражения...

— ...свои планы, — закончила Окси.

Они смотрели друг на друга — две тени, два недочеловека, две половинки, которые не складываются ни в одного целого. Костёр погас. Ниши стала совсем тёмной, и в этой тем-

ноте ни Прима, ни Окси не нуждались в свете, потому что обе были сделаны из того, что свет не освещает, а высвечивает.

— Я войду в зеркало, — сказала Прима.

— Я знаю, — сказала Окси.

— Я найду её.

— Я знаю.

— И мы поменяемся.

— А я... — Окси замолчала. Потом тихо, с той честностью, которая бывает только у тех, кто знает, что терять уже нечего: — Я хочу посмотреть. Хочу посмотреть, как ты её найдёшь. Хочу увидеть, как она... как я... Настоящая...

Стеклянный блеск в её глазах дрогнул. Не слеза — отражения не плачут. Но что-то в ней, в этом сплаве страха и любопытства, потянулось к чему-то, чего у неё не было, и потянулось так, как тянутся ростки к свету — не зная, будет ли свет, но зная, что без него не выжить.

— Ты увидишь, — сказала Прима.

И обе знали, что это может быть ложью.

На другой стороне ниши Сиринити лежала с открытыми глазами и смотрела в темноту, туда, где сидела Окси. Где Окси, казалось, разговаривала с пустотой. Сиринити не слышала слов, но видела: тень Окси на стене была не одна. Рядом — едва, едва-едва — угадывалась вторая. Меньше, тоньше, прозрачнее. Как тень от свечи, которой нет.

Сиринити не стала записывать. Не потому что не хотела

— потому что не знала, как записать то, что видела, не сказав при этом «я схожу с ума». А сходить с ума она не была готова. Пока не готова.

За перевалом, в деревне, которую сожгли семь лет назад, в окне пустого дома горел свет. И кто-то в этом окне стоял, прижав ладонь к стеклу.

Изнутри.

Глава 4. Сплетение

Оно началось не сразу.

Первым заметил не человек — ручей.

Тропа спускалась с перевала, и группа перебиралась через мелкую воду по камням, когда Окси остановилась на середине ручья и замерла. Просто замерла — как человек, который слышал своё имя, но не понял, откуда. Фаргус прошёл мимо, брызгая, Даффи перешёл чуть ниже по течению, тяжело наступая на мокрые камни, Оптима перешёл первым и уже поднимался на берег. Сиринити — последней, записав на ходу: *Окси. Остановка на ручье. 3 сек.*

Прима стояла на том же камне.

Невидимая. Неощутимая. Но Окси знала, где она, — знала так, как знаешь, с какой стороны кровати привычнее спать, не думая, не выбирая. И когда Окси сделала следующий шаг, Прима сделала его тоже. Не подражая — *совпадая*. Левая нога, правая рука, перенос веса, пауза на камне, шаг. Вдох — выдох. Вдох — выдох.

Ручей звенел. И в этом звоне на один миг ритм сбился, потому что вода текла сквозь две фигуры одновременно, и обе были одного шага, одного дыхания, одного счёта.

Фаргус обернулся:

— Окси, ты идёшь или квартиру тут снимаешь?

Окси пошла. Прима пошла рядом. Их шаги не слышались — один, потому что второй не существовал для мира, — но воздух между ними стал гуще, плотнее, как бывает перед грозой, когда ещё ничего не произошло, но уже всё изменилось.

Оптима шёл впереди и чувствовал это.

Он не знал, *что* чувствует, — это было не слово, не мысль, а телесное ощущение, как когда в комнате становится кем-то больше, хотя дверь не открывалась. Он и раньше чувствовал лишнее присутствие — в деревне за перевалом, в пещере, где стены блестели мокрым сланцем. Там тоже было *больше*, чем видно. Там тоже воздух был тяжёлым от тех, кого нельзя было сосчитать.

Он не обернулся. Но начал слушать.

Три дня спустя спуска с перевала. Группа шла по редкому лесу — кедры, мох, камни, поросшие лишайником, — и между деревьями висела та особенная тишина, которая бывает не тишиной, а паузой. Днём. На открытом месте. Когда все идут и говорят, и тем не менее — тихо.

Окси разговаривала.

Фаргус шёл рядом, и ему казалось, что Окси бормочет —

беседно, монотонно, как люди бормочут в дороге, когда ноги идут, а мозг уплыл. Он прислушался: слова, обрывки, интонации. Нет — не обрывки. Реплики. Вопросы и ответы. Окси говорила так, как говорят в разговоре: паузы на ответ, смена интонации на чужой реплике.

— С кем ты? — спросил Фаргус, и сам испугался своего вопроса, потому что задал его в шутку, а ответ мог быть не шуточным.

— Сама с собой, — сказала Окси, и улыбнулась — на полсекунды позже, чем нужно.

Фаргус отстал. Подошёл к Даффи, забрал у него из руки сухарь, откусил, прожевал, вернул. Даффи не заметил — он смотрел на Окси, и в его маленьких испуганных глазах было то знание, которое он носил в себе с самого подвала и которое еда не могла заглушить, хотя он пытался, честно пытался, три дня подряд.

— Она говорит с пустотой, — сказал Даффи тихо. Не Фаргусу — в сухарь.

Фаргус не ответил. В этом было новое: Фаргус не ответил. Фаргус, для которого молчание было чем-то неестественным, как для рыбы — ходьба, — промолчал. И в этом молчании было больше страха, чем в любом крике.

Оптимист шёл впереди, и его спина была спиной человека, который знает.

Он обернулся — один раз, на полповорота, — и увидел: Окси идёт, губы шевелятся, и рядом с ней, в полушаге, воз-

дух дрожит. Не сильно. Не зримо. Но дрожит — как дрожит над костром, только холодно, без тепла, без света. Просто дрожь. Чуть заметная волна, бегущая по краям реальности, как по воде от брошенного камня.

Оптимист не спросил. Он давно перестал спрашивать то, на что не хотел получать ответ. Вместо этого он остановился, снял рюкзак, расстегнул боковой карман и достал мешочек.

Кожаный. Старый. Потёртый до белизны на сгибах, с потемневшим шнурком, завязанным узлом, который знала только его мать. Мать умерла двенадцать лет назад, и мешочек был единственной вещью, которую она оставила ему не как наследство, а как наказ: *Не открывай, пока не придётся.* *А придётся — откроешь и поймёшь.*

Он открывал его один раз. После деревни. После пещеры. После того, как увидел дым на горизонте и не стал спускаться. Тогда он высыпал кости, бросил, и они легли в фигуру, которую его мать называла «Пустая комната», — и которая означала: *здесь уже нет никого, и хорошо, что нет.* Он закрал мешочек обратно и двенадцать лет не трогал.

Сейчас — пришлось.

Костяные осколки — не кости, а осколки, плоские, неровные, вырезанные из лопатки какого-то зверя давно и тщательно, с рисунком, который стёрся от прикосновений, — легли на ладонь. Семь штук. Тяжелее, чем кажутся. Оптимист подбросил их — не высоко, на ладонь, как бросают монету, — и они упали на камень.

Группа остановилась. Фаргус потому что остановился Оптима. Даффи потому что остановился Фаргус. Сиринити потому что остановились все. Окси — потому что Прима остановилась тоже, и сплетение не позволяло одной двигаться, когда другая стоит.

Кости легли.

Оптима смотрел на них долго. Его лицо не менялось, но руки — обе — побелели в суставах, и это у человека, который неделю назад вышел из подвала без единого изменённого мускула, было равносильно крику.

Фигура называлась «Раздвоенный путь».

Его мать показала ему эту фигуру один раз — нарисовала углём на стене дома, когда ему было девять, и сказала: *Если кости лягут так — бегите. Не думайте. Бегите*. Он запомнил рисунок не глазами, а телом — как запоминают ожог, не цвет, а боль. Одна кость поперёк. Две — параллельно, но расходятся. Четыре — кругом, разорванным с одной стороны, как кольцо с выбитым звеном. Это означало: *путь, который разделился на два, и оба ведут в одно место, и это место — не здесь*.

— Что это значит? — спросил Фаргус. Его голос был тихим, и в нём не было привычной бравады. Он видел руки Оптима и понял: если этот человек, который не боится ничего, сжимает кулаки — значит, бояться нужно.

Оптима собрал кости в ладонь, ссыпал обратно в мешочек, затянул узел — тот самый, который знала только мать,

— и убрал в рюкзак. Потом встал, потряхнул колени и сказал одно слово:

— Зеркало.

Тишина. Настоящая. Не пауза — дыра.

— Какое зеркало? — спросил Даффи, хотя знал. Он знал с того момента, как вышел из подвала и почувствовал, что Окси идёт за ним не в такт. Он знал, но спрашивал, потому что вопрос откладывал ответ.

— Подвал, — сказал Оптима. — Мы идём обратно в подвал.

Даффи побледнел. Не побелел — *побледнел*, как будто из него вылили кровь и влили молоко. Цвет ушёл из лица за секунду, и пакет с печеньем в его руке захрустел — пальцы сжались сами, не спрашивая разрешения. Он открыл рот, закрыл, открыл снова. Ничего не сказал. Сухарь выпал из другой руки, и он не поднял.

Фаргус стоял ровно, но его правая рука — та, что точила нож три ночи подряд, — повисла вдоль тела неподвижно, и пальцы на ней не шевелились, и это было страшнее, чем если бы он дрожал. Фаргус без движения рук — это был не Фаргус.

Сиринити закрыла дневник.

Не захлопнула — закрыла. Аккуратно, как закрывают дверь, за которой остался кто-то, кого не хочешь оставлять, но и забрать не можешь. Она убрала лоскутки в карман, застегнула пуговицу — это был жест, который у неё означал

больше, чем слова: *я перестала записывать. Я перестала быть наблюдателем. Я теперь внутри.*

Окси стояла и смотрела на Оптима. И в её глазах — мокрый асфальт, стеклянный блеск — отразилось что-то, что могло быть облегчением, или ужасом, или тем и другим, потому что она состояла из обоих, и разделить их было нельзя.

Он знает, — подумала Прима, стоя рядом, невидимая, дрожащая, сплетённая. — *Он не знает, что именно, но он знает, что мы идём обратно. И он знает, что это не выбор.*

— Окси, — сказал Оптима, и впервые за четыре дня посмотрел ей в глаза. Долго. Тяжело. Как человек, который перебирает в памяти лицо друга и сравнивает с тем, что перед ним. — Ты... ты?

Окси молчала. Молчала долго — дольше, чем может молчать живой человек, не потому что не знает ответ, а потому что ответ — это не «да» и не «нет». Ответ — это я — *часть тебя, но не та.*

— Идём, — сказала Окси.

И Оптима кивнул. Не потому что понял. Потому что принял. Он принял то, что не понимал, как принимают дождь — не потому что хотят, а потому что некуда деться.

Они развернулись. Тропа назад шла на подъём, и перевал стоял впереди, как стена, и за перевалом — подвал, и в подвале — зеркала, и в зеркалах — все, кто когда-либо смотрел и не отвёл взгляд.

Даффи шёл последним. Он не ел. Впервые за четыре дня

— не ел. Пакет с печеньем лежал в кармане, нетронутый, и это было самым страшным, что случилось за это утро. Страшнее костей. Страшнее слова «зеркало». Страшнее лица Оптима.

Если Даффи перестал есть — значит, он перестал верить, что еда поможет. А если Даффи перестал верить в еду — значит, он перестал верить во что-либо вообще.

Сиринити шла за Окси и смотрела на её затылок. Голова — наклонена вправо. Всё ещё. Тот же градус. Та же неправильность. Но теперь Сиринити видела и другое: тень Окси на тропе. Тень шла вполшага позади. Всегда вполшага. И в тени — едва, неразличимо — угадывался второй силуэт. Меньше. Тоньше.

Сиринити не достала дневник. Пуговица была застёгнута. Впереди, за перевалом, в подполе старьёвщика, зеркала висели в темноте и ждали. Они умели ждать. Они ждали всю жизнь — каждого, кто спустится, каждого, кто посмотрит, каждого, кто не сможет отвести взгляд.

И у каждого отражения, запертого в стекле, были свои планы на тело, которое ходит по эту сторону и думает, что оно — единственное.

Глава 5. Дорога назад

Лес не хотел их обратно.

Это было не метафорой. Прима чувствовала сопротивление так, как чувствует течение — не глазами, а телом. Тропа,

по которой они прошли четыре дня назад, сужалась. Не за-
растала — именно сужалась, будто земля сдвигалась по кра-
ям, как рана, которая затягивается. Кедров стояли ближе друг
к другу, чем стояли. Мох на камнях был гуще, темнее, влаж-
нее, чем должен быть в сентябре. Ветки опускались ниже, и
Фаргус, который шёл вторым, дважды получил по лицу хво-
ей и оба раза не выругался, а просто отмахнулся, и его мол-
чание было страшнее любого слова.

Оптимист рубил. Он достал топор — не нож, не палку, то-
пор, который таскал на боку рюкзака с первого дня пути, —
и рубил ветки, что перегораживали тропу. Не зло, не лихо-
радочно. Методично, как человек, который знает: если пере-
станет рубить, тропа закроется, и они останутся здесь, в ле-
су, который не выпускает.

Даффин шёл за Фаргусом и молчал. Второй день не ел. Па-
кет с печеньем лежал в кармане, и рука его, привыкшая тя-
нуться к нему каждые двадцать минут, лежала вдоль тела,
ненужная, как третье ухо. Его лицо было серым, и под гла-
зами залегли тени, которые не были тенями от деревьев —
они были изнутри, как синяки на стекле, которое тресло, но
ещё держится.

Окси шла предпоследней, и Прима — рядом, и сплете-
ние держалось: шаг, дыхание, пауза. Но теперь в сплетении
появилась новая нота — *напряжение*. Как струна, которую
подтянули выше, чем она рассчитана, и которая звенит не от
музыки, а от того, что вот-вот лопнет.

Сиринити шла последней. Дневник не открывала. Пуговица кармана застёгнута. Но глаза — её точные, фиксирующие, неотвратимые глаза — работали, и она видела.

Видела, что тропы петляют.

Не просто извиваются — *петляют*. Проходят одно и то же дерево дважды. Огибают камень, который уже обходили. Возвращаются к ручью, который перешли утром. Будто лес водит их по кругу, не грубо, не жёстко — мягко, как взрослый уводит ребёнка от края крыши, беря за руку и разворачивая, и ребёнок не замечает, потому что рука тёплая, а направление кажется правильным.

— Мы ходили тут, — сказал Фаргус на второй день. Он остановился у валуна, на котором была царапина — его царапина, от его ботинка, когда он спотыкался два дня назад. — Вот эта царапина. Моя. Я тут уже был.

— Лес водит, — сказал Оптима, не оборачиваясь.

— Что?

— Лес. Не хочет. Идём.

И они пошли. Оптима рубил. Тропа открывалась — неохотно, по одной ветке, по одному метру, — но открывалась, потому что топор был железом, а железо не подчиняется тому, что живёт в деревьях и мху.

Третий день.

Фаргус нашёл осколок.

Он лежал на тропе — не у тропы, не в траве, а *на* тропе, посередине, как положенный. Плоский, с ладонь, с неров-

ным краем, как отбитый от большего куска. Зеркальная поверхность — тусклая, пыльная, но живая, отражающая.

Фаргус поднял его — просто, машинально, как поднимают всё, что блестит на дороге, — и замер.

В осколке было лицо.

Не его. Не Окси. Не чьё-либо из группы. Лицо — мужское, узкое, с впалыми щеками и глазами, которые были открыты слишком широко, как у человека, который смотрит и не может перестать смотреть. Незнакомое. И живое — в том смысле, в котором не должно быть живым отражение в куске стекла, лежащем на лесной тропе.

— Это не я, — сказал Фаргус, и его голос дрогнул, и это был второй раз за всю дорогу, когда его голос дрожал, и оба раза — из-за зеркала.

Он чуть не уронил осколок. Потом — не уронил. Потом всё-таки уронил, и осколок упал зеркальной стороной вверх, и в нём мелькнуло лицо снова — на долю секунды, — а потом стекло потемнело, как окно, в котором задёрнули штору.

Прима видела.

Она видела не лицо — она видела лицо и больше. Она видела, как от осколка идёт *нить*. Тонкая, как паутина, холодная, как зимний воздух, тянущаяся от стекла вниз, в землю, в корни, в камень, в глубину, туда, где подвал старьёвщика висит на своих цепях со своими зеркалами, и оттуда — по корням, по трещинам, по капиллярам земли — расходится наружу, как кровь по сосудам.

Зеркало расширялось.

Не в подвале. Из подвала. Осколки расходились по миру, как семена одуванчика, разносимые ветром. Каждое — окно. Каждое — выход. Каждое — вход. Каждое — ловушка, потому что зеркало не отражало мир — оно *протягивало через себя*, как протягивают руку сквозь переплёт окна, чтобы схватить то, что снаружи.

Прима поняла это не мыслью — холодом. Холод шёл от осколка, от земли, от корней, и в этом холоде было послание, не словесное, а сущностное: *мы повсюду. Мы в трещинах камней и в лужах после дождя. Мы в окнах домов и в глазах детей. Мы в каждом блеске, в каждой гладкой поверхности, в каждом отражении. Мы не в подвале. Подвал — это дверь. А мы — комната.*

— Брось, — сказала Прима.

Фаргус не слышал. Никто не слышал. Но Окси — двойная Окси — обернулась, и в её глазах блеснуло: она слышала. Она слышала Приму, потому что они были сплетены, и то, что доходило до одной, дрожало в другой, как звук в одной струне отыгрывает в соседней.

Окси подошла к Фаргусу, взяла его за запястье — мягко, но твёрдо, — и разжала пальцы. Осколок упал. Окси накрыла его ботинком, вдавила в мох.

— Не трогай зеркал, — сказала она.

Фаргус смотрел на неё, и в его лице — в его живом, подвижном, неумеющем молчать лице — проступило то, что

он прятал за шутками с самого начала: *он понял*. Не всё, не до конца, но достаточно. Он понял, что Окси — не Окси, и что осколок — не осколок, и что лес — не лес, и что они идут не просто в подвал, а в пасть, и пасть уже открыта.

— Окси... — начал он.

— Не сейчас, — сказала она.

И он замолчал. И они пошли.

Четвёртая ночь.

Лагерь разбили в низине, у замшелого валуна, который был достаточно большим, чтобы загородить ветер. Огонь развели слабый — ветки были сырыми, дымили, и дым стоял в низине, как молоко в блюде, густой и низкий.

Даффи уснул. Наконец-то. Три дня без еды измотали его — не тело, тело было привычное, большое, с запасами, — а дух. Дух Даффи держался на еде, как дом на фундаменте, и без еды начал проседать, трещать, крениться. Уснул он тяжело, провалившись, как камень в воду, и храпел — тихо, мерно, и его храп был единственным звуком, который ещё принадлежал нормальному миру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.